

Генна Сосонко

ПОЗНАВШИЙ ГАРМОНИЮ

Издатель «Андрей Ельков»
Москва 2016

УДК 794.1
ББК 75.581
С66

Генна Сосонко

С66 **ПОЗНАВШИЙ ГАРМОНИЮ.** Москва, 2016,
152 с., 8 стр. ч.б. ил.

ISBN 978-5-906254-31-3

В своей новой книге Генна Сосонко знакомит читателя с седьмым чемпионом мира по шахматам Василием Васильевичем Смысловым.

Автор часто играл и много общался с героем книги и это позволило ему показать линию жизни Смыслова в ее удивительной гармонии. Именно осознанная гармония, ставшая его путеводной звездой, позволила Смыслову прожить долгую жизнь, не сбивая дыхания.

Книга Сосонко не биография, а взгляд на жизнь необыкновенного человека в ее разных ипостасях, как шахматной, так и музыкальной.

Фото из архива автора и журнала «64-ШО».

Генна Сосонко

ПОЗНАВШИЙ ГАРМОНИЮ

Оформление, верстка *Андрей Ельков*

Формат 84x108 1/32.

Печать офсетная. Бумага офсетная.

Тел./факс: (495) 963-80-17

e-mail: elkov_andrey@mail.ru, murad@chess-m.com

<http://www.elkov.ru>

<http://www.chessm.ru> – Интернет-магазин

Книги Генны Сосонко выходили на английском, русском, голландском, испанском, чешском и эстонском языках.

Из рецензий на книги Генны СОСОНКО

«Восхитительная книга».

«ВАШИНГТОН ПОСТ», США

«Это захватывающая книга. Читаешь ее на одном дыхании. Казалось бы, о ее персонажах создана целая библиотека, все они хорошо известны, стократно описаны, процитированы, любые открытия уже сделаны, но выясняется: это не так, мы словно знакомимся с ними заново».

ЛЕОНИД ЗОРИН, «64»

ISBN 978-5-906254-31-3

© Сосонко Г., 2016

© Издатель Ельков А., 2016

«Сегодня, Василий Васильевич, – юбилей».

«Какой еще юбилей?»

«Сегодня Фишеру шестьдесят лет исполняется...»

«Да что вы, а ведь я его еще мальчиком помню. Как время-то летит... Вот Фишеру шестьдесят уже. Фишер... Читали мне, читали его высказывания. Он безумен, конечно. Безумен в своих идеях... Но вот попросили давеча ему книгу подписать: очень ему понравилась моя книжечка. Подписал, конечно. А знаете, совпадение какое: у нас сегодня утром в гостях дама одна была, подруга Надежды Андреевны, и спросила – правда ли, что Фишер самый гениальный игрок за всю историю шахмат? А я ей так сказал: правда, конечно, да только кроме него тоже были самые гениальные...

А между прочим, сегодня не только у Фишера круглая дата. Сегодня и Прощёное воскресенье! И надо всем друг у друга прощения просить. Так что вы уж простите меня, Геннадий Борисович, если я что-то не то сказал или сделал...»

«Простите и вы меня, Василий Васильевич».

Впервые я увидел Смыслова на Кировских Островах в Ленинграде. Помню какой-то шахматный праздник, сеанс одновременной игры, элегантного высокого мужчину, неторопливо передвигавшегося от столика к столику, зрителей, плотным кольцом окруживших играющих. Было это в 1956 году, в доисторические еще времена.

Двадцать лет спустя мы сыграли первую партию на межзональном турнире в Швейцарии. Двумя годами позже на турнире в Сан-Пауло мы почти всё свободное место проводили вместе. Было Смыслову тогда пятьдесят семь, и я не помышлял, что когда-нибудь буду писать о нем: нас просто связала душевная близость, и мне всегда казалось, что разница в возрасте между нами меньше, чем разница лет.

Виделись мы бесчисленное число раз и не только на турнирах и Олимпиадах. В Москве – у него дома и на даче, у меня – в Амстердаме. За несколько дней до того как он отправился в больницу, откуда уже не вернулся, мы говорили по телефону.

В частных беседах Смыслов был куда интереснее, чем в интервью. Мысли, подспудно присутствовавшие всегда: как посмотрит начальство? Не отразится ли это на выезде? Что подумают? – сковывали его. Он скрывался за общепринятыми формулировками и постоянно держал

себя под контролем. Поэтому все интервью с ним, даже последнего периода, когда он позволял себе больше, чем в советские времена, кажутся мне пресными.

У нас выработался особый, шутливый тон разговора, который мы могли поддерживать длительное время. Со стороны могло создаться впечатление, что два великовозрастных студента продолжают пикировку, начатую много лет назад, хотя на самом деле нередко речь шла о вещах нешуточных, порой и трагических.

Несмотря на внешне несерьезный тон разговоров, я никогда не воспринимал Смыслова с комической стороны; тем более не делаю этого сейчас. Это было бы большой несправедливостью, а для меня, кроме того и неблагоприятностью.

Его монологи были так интересны, что я начал ловить себя на мысли: этого бы не забыть, а это не должно пропасть для шахматной истории. Вспомнив Горация, говорившего, что на будущее полагаться нельзя, я стал записывать его рассказы.

Здесь и там я привожу в них казалось бы мало-важные факты, но как в работе детектива всякая мелочь помогает проникнуть в суть дела, так и некоторые из такого рода записей способны лучше раскрыть облик Смыслова, чем перечисление его регалий и заслуг.

Думаю, он сам понимал смысл моих расспросов и к некоторым из них готовился, формулируя

мысль четко и недвусмысленно. Сказал однажды: «Много вещей, Г., надо записывать. Вообще, это полезно очень – вести дневник, ведь из памяти исчезают детали, да и крупные события расплывчатые очертания принимают. Не говоря о том, что мы сами не очень-то и любим хранить кое-какие воспоминания в памяти...»

Распуская пряжу наших диалогов, я вполне осознанно решил сохранить корявость, присутствующую почти любому разговорному общению, убрав здесь и там относящиеся ко мне комплиментарные слова. Чтобы не пострадало содержание, я оставил их только в считанных случаях.

Я осмелился взять его речь в кавычки: монологи Смыслова не пересказаны мною, а воспроизведены слово в слово. Некоторые из них, записанные на магнитофонную пленку, сохранили живые интонации его московского говора с «што», «канешно», «Масква», «п-а-анравился». Он говорил: «третьего дня», «нынче», «давеча», «всё от лукавого», «бес попутал», «надо было козьей ножкой», «суета сует». Часто повторял максимум, произнося ее то по-французски, то по-русски: *fait ce que dois, advient que pourra* – делай что должно, и будь что будет.

Однажды рассказал ему о Крылове, не оставившем ни одной биографической строчки, а в присланную для корректуры собственную биографию для словаря даже не заглянул: пусть пишут, что хотят... Комментировал: «Вот-вот. Надо

делать, что тебе предназначено, а записчики найдутся...»

Как и у большинства людей, почти всё, прочитанное им, относилось к детскому и юношескому возрасту, но сохранилось в памяти навсегда, и он часто и с удовольствием цитировал русских классиков. Любил вставить в речь не только пословицу, поговорку, но и двустиишие из Пушкина, Грибоедова, Некрасова, Майкова, врезавшиеся в память строки Гоголя, Островского.

Спросил его однажды: «Василий Васильевич, вы Гоголя когда в последний раз читали? Лет шестьдесят тому?» «Шестьдесят? А все семьдесят не хотите, а то и с гаком...»

Общаясь с ним, я замечал, что стилизуюсь под его манеру разговора и употребляю его словечки. «Ну что, Г., вчера всё к партии готовились, на прогулку не вышли? – спрашивал меня, расстроенно после проигрыша. – Но и вас не обошла участь сия...»

«Да уж, – слышал я собственный голос. – Звезды, верно, на небосводе не были расположены благоприятно. Надо было, видать, козьей ножкой...»

Однажды, не выиграв у Карпова с лишней фигурой и выйдя с ним следующим днем на утреннюю прогулку, спросил: «Что я вчера неправильно сделал, В.В.,? Что? Только не отвечайте, что звезды неблагоприятно были расположены. И что я должен теперь делать?» Поправляя очки, заме-

тил: «Что делать спрашиваете? Отвечу – забыть! И как можно скорее! Вот что делать! А то сегодня вообще играть не сможете. Забыть!»

Видя нас постоянно вместе, коллега-гроссмейстер спросил меня как-то: «Откровенен ли с тобой до конца Василий Васильевич?»

Кто может ответить на такой вопрос? Откровенен он был, конечно, только со своей женой, Надеждой Андреевной, Надюшей, Надин, но это было не откровение, а что-то другое: можно ли быть откровенным с собственной рукой? Она была частью его, и когда я говорил с ним по телефону, на заднем плане всё время звучал ее голос, бывший отображением его собственных рефлексов, даже скорее чем мыслей.

И куда бы ни приезжал В.В., войдя в гостиничный номер первым делом доставал из чемодана и ставил на столик рядом с кроватью фотографию молодой улыбающейся Нади.

Однажды пили чай у него на даче. Спросил: «Василий Васильевич, а когда мы с вами познакомились-то?»

«Да что ж вы такое спрашиваете, Г. – Смыслов укоризненно посмотрел на меня, – вы же сами знаете, что мы всю жизнь были знакомы...»

Он говорил мне вещи, которые обычно не говорят другим. И не только потому, что это был я. Просто всё сошлось: здесь не надо было держать ухо остро, когда говоришь с соотечественниками. Не надо было мучиться, коверкая английские или

немецкие слова. К тому же опыт человека, прожившего почти три десятилетия в той же самой стране, делал само собой разумеющимся многое, чего не мог понять ни один иностранец. И наконец: человек того же цеха, той же профессии, интересы которого к тому же никоим образом не пересекаются с его собственными. Немало!

Он никогда не отказывался, когда я просил передать что-нибудь моим в Питере. «Ну что за вопрос, Г., единственное – не знаю, когда представится это с оказией из Москвы переправить...»

Сейчас его нет. О нем напоминают книги, диски и пластинки, с трогательными надписями, когда и с наползающими друг на друга буквами. Его нет. Давно нет и тех, кому он переправлял мои голландские подарки. На самом деле не исчезло ничего: всё сохранилось, всё осталось в благодарной памяти.

Расстояние, установившееся в наших отношениях с Василием Васильевичем Смысловым, представляется идеальным: встречаясь на турнирах и Олимпиадах (реже – приватно), регулярно, когда стало возможным, разговаривая по телефону, создали мы атмосферу доверительную и в то же время далекую от панибратства. Да и возможно ли было такое? Никто на моей памяти не называл его Вася – едва ли не с юношеских лет он стал для всех Василием Васильевичем.

Памятью обладал замечательной, хоть и воскликнул однажды, когда я начал теребить его,

расспрашивая о старых временах: «Ой, Г., не будите во мне воспоминаний... Что было, то было и былшем поросло. Ничего не помню! Это мне благодать такая дана – забывать. Но удивительный феномен (фенóмен – как говорил всегда он сам): то, что надо было бы забыть, то и помнишь больше всего...»

Он постоянно и страстно увлекался чем-нибудь. В конце сороковых, начале пятидесятых годов это было столоверчение, спиритизм, которым, по его словам, занималось немало людей из высших эшелонов власти. Со многими был знаком лично, называл и фамилии.

Уже при мне был у него период, когда он только и говорил о свете в конце тоннеля и почти все свои речи начинал словами – а вот в книге «Ляйф авте ляйф» сказано...

Потом увлекался какими-то деревянным идолами, раскрашенными божками. Этот период начался у него после посещения Исландии в 1977 году, длился не очень долго и кончился тем, что в одночасье, разочаровавшись, он выкинул всё с глаз долой, из сердца вон.

Сказал однажды: «А вообще, я полагаю, что шахматы обладают каким-то мистическим свойством. Не уверен, что они из Индии к нам попали, а не атлантами завезены, жителями Атлантиды. Было это семь тысяч лет назад, я изучал эти вопросы досконально, тогда духи были еще, кентавры, потом люди с таким коричневым цветом

кожи. Они вероятно из космоса к нам пришли...»

Застал я и период его увлечения НЛО, таинственными явлениями, инопланетянами, время от времени посещающими Землю. На турнире в Тилбурге в 1979 году, когда он в который раз начал говорить о летающих тарелках, Олег Романишин позволил себе какое-то ироническое замечание, и Смыслов не на шутку рассердился.

После поездки на Филиппины, насмотревшись как местные хилеры без всякой анестезии удаляют опухоли, был под сильным впечатлением удивленного, но потом прошел и этот период.

Верил в предсказания, гороскопы, приметы. Вместе с Михаилом Бейлиным работал как-то летом над рукописью книги. Дача, окна веранды открыты. Вдруг, залетев в окно, на стопку страниц села птица. Смыслов разволновался ужасно: плохой знак, Миша, птица так просто на рукопись не сядет.

«Да что вы, В.В., обращаете внимание на такие вещи, подумаешь – птица какая-то, да и улетела уже давно...»

«Нет, нет, не говорите, Миша, птица просто так в комнату не залетит, на книгу не сядет... Дурной знак...» Так и не удалось уговорить Бейлину сесть его в тот день за корректуру.

В июле 1999 года в его речах появился новый мотив: «Знаете, Г., что за даты близятся? Да вот именно! Нострадамусовы! А ведь Нострадамус многое правильно предсказал... Вот например...»

Рассуждал о деталях конца мира, приводя мне, сомневающемуся, решающий аргумент: я сам по телевизору слышал. Но как только все указанные сроки прошли, сошло на нет и это увлечение.

Всё победила религия. Такое случается нередко, особенно в годы, когда последний причал становится виден отчетливо. Утверждал, правда, что верующим был с молодых лет. Проверить это невозможно, но когда я познакомился с ним, носил крест на золотой цепочке, а во время прогулок, если представлялась возможность, всегда заходил в церковь, ставил свечку, крестился на иконы.

Знатоком Библии он не был, но играет ли это какую-либо роль? Ведь для веры не нужны знания, и настоящая вера не имеет сомнений. Он знал о моем равнодушии к религии, и когда я задавал вопросы, болезненные для каждого верующего, сдвигал брови, и в его голосе слышны были интонации: правильный ответ на вопрос – что делал Бог до сотворения мира? – Занимался сооружением ада для задавателей такого рода вопросов!

Однажды, начитавшись на ночь Шестова, спросил его: разве Писание может выдержать очную ставку с самоочевидными истинами? Насупись: «Вы, Г., всяких книжников, фарисеев да садукеев

читаете, а вместо этого полезнее было бы в церковь сходить, или хотя бы в синагогу».

Его увещевания действовали на меня так же мало, как рассказы о появлении Девы Марии в Лурдской пещере или о превращении воды в вино. Но он благоволил ко мне и позволял высказывать взгляды, несозвучные с его собственными, при условии, что я не делаю этого очень часто и вопросы ставлю не слишком остро. Но когда я старался не перечить ему и проявлял смирение, он не мог не чувствовать, что это смирение Агриппы, согласившегося с апостолом Павлом: ты меня почти убедил.

Я стал избегать религиозных тем, поняв, что в споре убедить нельзя, а обидеть нетрудно. Тем более собеседника, слушающего не аргументы логики и рассудка, а обладающего верой, которая идет от сердца и потому не нуждается в доказательствах.

Как и все верующие он считал земное бытие не более как переходом к вечному. Не знаю, каким виделся ему рай, если удастся «на проскоке» очутиться там. Наверное, представлялся местом, наполненным божественным пением, музыкой Баха, игрой в шахматы, прогулками по дивной природе, неторопливой беседой с друзьями.

Вспоминал: «В 77-м году был я секундантом Спасского на его матче с Гортом, и пригласили нас на прием в советское посольство. Дело было в Рей-

кьявике. Не помню уж, о чем разговор зашел, но Борис Васильевич сказал так иронично советскому послу: а Василий Васильевич у нас в боженьку верует... Посол и особенно жена его так прямо и взвились – что-за чепуха! Прямо-таки мракобесие, поповщина, а у меня спрашивают: “Правда?” А я говорю: “Правда. Всё правда...”»

Перед тем как записывать в Голландии первую в жизни пластинку, волновался очень. Утром пошел в церковь, долго молился, а вернувшись из студии в Хилверсуме, где всё прошло отлично, сказал: «Не поверите, Г., подмигнула мне Мать Мария, давай мол, не робей, всё будет хорошо. Так знаете ли – у меня от сердца аж отлегло...»

В Элисте августом 1998 года я разговаривал с Майей Чибурданидзе и ее духовным наставником. Прощаясь, отец Рафаил, крупный черноволосый мужчина лет шестидесяти в рясе, спросил испытующе: «Ежели предал лучший друг, и друг простил предавшего на смертном одре – будет ли он прощен?»

На следующий день увидел в Москве Смыслова, которому и переадресовал вопрос отца Рафаила. Василий Васильевич долго не раздумывал: «На том свете разберутся!» К этому ответу он прибегал не раз, когда речь шла не только о религиозных проблемах, но и о вопросах каждодневной жизни.

В 1982 году я побывал в Ленинграде. Хотя был у меня уже голландский паспорт, мне настоятель-

но рекомендовали не делать этого: стояли чугунные советские времена, и последствия такого визита были непредсказуемы.

Игнорировав обязательную для пассажиров круизного судна программу с экскурсиями и посещением музеев, я следовал своей собственной. За несколько часов до отплытия теплохода, не удержавшись, заглянул в Чигоринский клуб.

«Двери-то какие обшарпанные, когда ремонт делать будем?.. Видите: иностранец пришел...» – сказал, войдя в знакомые с детства стены. История обросла подробностями. Потом рассказывали, что Сосонко, тайком приехав в Ленинград, обещал выделить десять тысяч долларов на ремонт клуба.

«Слышал, слышал, Г., про ваш набег в Питер, – улыбаясь, говорил Смыслов, когда мы месяц спустя встретились на турнире в Тилбурге. Выговаривал по-отечески: – на проскок пошел? Совсем голову потерял?»

Играли мы в пятом туре, все наши партии раньше кончились вничью, какие и без игры. Смыслов пассивно разыграл дебют, и с каждым ходом мое преимущество увеличивалось. Когда позиция черных стала совсем проигранной, он, приподнявшись на стуле, протянул руку и торжественно произнес: «Радуйтесь, Г., но не гордитесь. Я не могу играть против своих друзей!»

Ворчал и дулся на меня весь следующий день: «Этот? Да он родного отца за пятьсот долларов

прирежет, а не то что десять тысяч кому-нибудь пожертвует. Жди от него...» Но потом всё вошло в привычную колею: каждодневные прогулки по окрестностям деревушки под Тилбургом, где жили участники турнира, и длинные-длинные разговоры обо всем.

Эту партию Смыслов не забыл и через два года в том же Тилбурге взял реванш. Играл он с большим воодушевлением, и я вспомнил Таля, заметившего, как «ввинчивает» в таких случаях фигуры в доску Василий Васильевич.

Самое главное начало Христа – кротость – была ему совсем не свойственна. Да и дело его жизни – шахматы – плохо совмещалось с всепрощенчеством. Пусть застал я его уже на излете карьеры, посадка В.В. за доской, походка, весь внешний облик свидетельствовали о внутренней собранности, решимости и даже жесткости во время игры. Нет сомнения, что в молодые годы всё это присутствовало в еще большей степени. Да и то: без этих качеств невозможно было добиться таких успехов, каких добился он.

Стиль имел очень прозрачный, считался замечательным мастером эндшпиля. Один из сильнейших гроссмейстеров Запада восьмидесятых годов Ян Тимман, воспитанный на партиях Ботвинника, сказал однажды, что идеальным в шахматах считает стиль другого чемпиона мира – Смылова: оригинальная стратегическая линия, ясность в игре и виртуозное ведение эндшпиля.

И, конечно, – динамика. Он мгновенно реагировал на перемену обстановки на доске и тактику видел превосходно. Однажды после выигранной им каким-то тактическом выпадом партии у Пахмана (Амстердам 1994), я начал приговаривать: «Это Смыслов – мастер эндшпиля? Позиционный игрок, говорите? Да он на ловушки играет, вот его кредо».

Было видно, В.В. нравится моя ёрническая канонада. Поддакивал, улыбаясь: «Вот именно! Ловушечник и тактичар! Верно, Г., говорите... Лихим кавалерийским наскоком! На том и стоим!»

Однажды рассказал ему о модной теории: чтобы добиться успеха в какой-либо деятельности, надо посвятить работе десять тысяч часов. «Десять тысяч часов, говорите? Не знаю, не знаю, но шахматами я занимался в детстве много, очень много. Не считал, конечно, но мог просидеть за доской часов восемь, а то и дольше. Алехин, Капабланка, Тарраш, Нимцович. У отца в библиотеке примерно сотня шахматных книг в наличии было, вот их все и изучил. А Тарраша вы, кстати, читали? Это потом Тарраш у нас в немилость впал, у нас ведь многие в немилость впадали, вот и Тарраш впал, а так “Современная шахматная партия” – книга отличная. Очень доступно излагал всё Тарраш. Не читали? Очень советую, никогда не поздно... Может звучит нескромно, но когда читал я книги эти, было у меня чувство, что всё это мне уже знакомо.

В шахматах мне не нужен был никакой Карузо, чтобы давать советы.

А первый турнир сыграл я в 35-м году в летнем павильоне Парка Горького, было мне четырнадцать лет... А так – родитель мой меня дома выдерживал. Поначалу без ладьи играл, а потом дядя мой Кирилл Осипович, шахматист второй категории, со мной матч сыграл и получил я от него книгу Алехина “Мои лучшие партии”. И надписал дядя Кирилл – “Победителю в матче, будущему чемпиону мира Васе Смыслову. 29 мая 1928 года”. Книга эта до сих пор у меня хранится...»

В нем, как во многих русских людях, было заметно с одной стороны – преклонение перед иностранным, восхищение качеством, обслуживанием в ресторане, сервисом, вообще отношениями между людьми, с другой – ироническое, порой и презрительное подтрунивание над всем этим.

Чувства, на первый взгляд противоположные, а на самом деле очень легко уживающиеся друг с другом. Они имели место быть в России в разные исторические времена, нередко и с перекосом в ту или иную сторону; можно заметить их и сегодня.

Войдя однажды в большой магазин на торговой улице Амстердама и увидев платья и блузки

различных фасонов и расцветок, комментировал: «А ситцы те французские, собачьей кровью крашены...»

Легко объяснимый синдром покупок был у всех, приезжавших из Советского Союза, но у Смылова был рецидив этого синдрома: обмен только что купленной вещи. После осмотра обновки, когда и всестороннего обсуждения ее с коллегами, на следующий день торжественно нес покупку в магазин для обмена или возврата денег.

Не знаю, когда у него проявился этот синдром, но в середине семидесятых годов это был уже застарелый недуг, не поддающийся лечению. Думаю, что когда в первый раз обмен безболезненно удался, ему захотелось сладострастно испытывать это ощущение всё чаще и чаще, а потом уже и всегда. Как алкоголик, утверждающий, что может расстаться с пагубным пристрастием в любой момент, он не считал это болезнью, стараясь припомнить случаи окончательной покупки, или попросту утверждая, что может легко обойтись без обмена.

«Давайте, Г., погуляем, но прежде в магазин зайдём, купим кофточку Надежде Андреевне. А потом уж отправимся, куда скажете», – предлагал В.В., перед традиционной прогулкой перед туром. «Нет уж, вы сами, В.В., покупайте, я на улице подожду, а завтра пойдем с вами менять...» Смеялся.

В другой раз обменивали блузку, уже обме-